Воскресение слова (функции жанра проповеди в последнем романе Л. Н. Толстого)

Татьяна Волкова
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, МОСКВА

Исследователи романа “Воскресение” уже давно обратили внимание на то, что одна и та же цитата из Евангелия от Матфея повторяется в произведении дважды[1]. Это свойство романа, насколько нам известно, до сих пор никто не связал с поэтикой его названия. Между тем, сам принцип цитирования Евангелия в произведении, несомненно, обусловлен авторской концепцией воскресения Христа. Очевидно также, что свое представление о центральном евангельском событии автор облекает в форму проповеди. Первые читатели романа “Воскресение” практически единодушно отмечают его учительную, проповедническую тенденцию[2]: на фоне проповедей-поучений – неотъемлемой части религиозной жизни русского человека этого времени. Аналогичное представление существует и в научной традиции[3]. Учительность толстовского слова отмечена, в частности, в работе М. М. Бахтина “Слово в романе”[4]. В

[1] На такую особенность цитирования евангельских текстов в романе обращает внимание, в частности В.Г. Одиноков. См. В.Г. Одиноков. Толстой-художник. Новосибирск, 1967. С.168.

[2] См., например, весьма показательное замечание в “Миссионерском обозрении”: “Прежде читали Евангелие Иисуса Христа и его клали в основу воспитания и всего уклада жизни, а теперь зачитываются до одурения “евангелием” гр. Толстого!..” (К.Н. Ломунов. Кто же воскресает в романе Толстого? Споры о финале “Воскресения” // К.Н. Ломунов. Над страницами “Воскресения”. М., 1979. С. 322).

[3] См., например: Л.Д. Опульская. К творческой истории романов Льва Толстого // Динамическая поэтика. От замысла к воплощению. М., 1991. С.130; Н.Д. Тамарченко. “Монологический” роман Л. Толстого (опыт реконструкции и применения созданной М.М. Бахтиным “модели” жанра) // Проблемы поэтики реализма. Куйбышев, 1984.

[4] М.М. Бахтин. Слово в романе // М.М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 210.

Критика и семиотика. Вып. 1, 2000. С. 136-154

статье, посвященной уже непосредственно “Воскресению”, ученый повторяет эту мысль. По его мнению, автор в романе Л.Н. Толстого для выражения своей позиции использует “форму проповеди”[5].

Подчеркнем, что специальный жанровый анализ авторского слова в романе Л.Н. Толстого не входил в задачу М.М. Бахтина. Подобным образом и другие исследователи “Воскресения” ограничиваются указанием на саму проповедническую тенденцию толстовского слова[6], подтверждая свое наблюдение всего лишь некоторыми (но, безусловно, очень важными) фактами[7].

Жанр проповеди[8], в отличие от философско-публицистической статьи и трактата, с которыми также сближали иногда авторское слово у Толстого, рассчитан на публичное произнесение и на немедленную, непосредственную реакцию слушателя. Задача проповеди – изменение поведения человека – обуславливает стилистические и тематические особенности этого жанра. Проповедник всегда рассуждает о человеческих грехах и добродетелях, а потому общим местом самых разных проповедей является перечисление самих грехов и добродетелей[9]. Интересно, что среди пороков древнерусский проповедник особенно выделяет скупость богатых и их жестокое обращение со слугами[10]. Среди добродетелей же, конечно, любовь к ближнему и “попечение об убогих, странниках, гонимых и преследуемых людях”[11].

В стилистике жанра обращает на себя внимание тенденция к простоте и понятности изложения. Безусловно, существуют и такие образцы проповеди, в которых риторическая задача оказывается более важной, чем собственно прагматическая. Однако, как правило, и древнерусский[12], и средневековый западноевропейский проповедники имели дело с “разными категориями населения”[13], а потому избегали сложных риторических украшений. Другая стилистическая особенность проповеди является следствием первой. Стремление проповедника быть понятным для каждого слушателя приводило к необходи-

---

[5] М.М. Бахтин. “Воскресение” // Толстой Л. Полн. собр. худож. произв. М.-Л., 1930. Т. 13. С.8.

[6] Л.Д. Опульская. Указ. соч. С. 130.

[7] См. анализ художественного времени в эпизоде пасхальной заутрени и финальной сцене романа в указ. работе Н.Д. Тамарченко.

[8] О жанре проповеди см.: В.И. Набиева. Модель контекста дискурса проповеди // Дискурс. Новосибирск. 1997. № 3-4.

[9] А. Орлов. Древнерусские поучения с апокрифическим элементом. М., 1907. С.6.

[10] См., например: А.Х. Гольдберг. Традиция древнерусских поучений в поэтике “Мертвых душ”. Н.В. Гоголь и русская литература XIX века. Л., 1989. С.48.

[11] Н.К. Гудзий. О национальной приуроченности древнерусских церковных поучений // Вопросы русской литературы. Вып. 2 (8). Львов, 1968. С.14.

[12] “..авторы стремятся сделать свои наставления, предостережения и обличения наиболее убедительными для своего адресата – “всякого христианина” и потому разъясняют пользу или вред определенных душевных свойств, “помыслов” не с помощью сложных рассуждений или символических сопоставлений, а с помощью примеров, прямо выхваченных из быта” (В.П. Адрианова-Перетц. К вопросу об изображении “внутреннего человека” // Вопросы изучения русской литературы X-XX веков. М.-Л., 1958. С. 22). О простоте изложения в древнерусских проповедях см. также: И.П. Еремин. Лекции и статьи по истории древнерусской литературы. Л., 1987. С. 65-72.

[13] А.Я. Гуревич. Культура и общество средневековой Европы глазами современников: (Exempla XIII в.). М., 1989. С. 319.

мости пояснять свои мысли рядом примеров[14]. Эти примеры проповедник заимствовал как из священных текстов[15], хорошо знакомых слушателям, так и из бытовой жизни паствы[16]. Для убеждения слушателей в верности своих слов проповедник иногда использовал и такой вид примера[17]: он описывал сцену другой проповеди, оценивая ее как истинную проповедь добра или, наоборот, как проповедь ложную. Сбывающаяся пророческая проповедь должна была наглядно продемонстрировать силу учительного слова и, тем самым, подтвердить право самого говорящего на поучение. Проповедь же ложная была необходима в качестве отрицательного примера, отвращающего слушателей от ложных проповедников. Косвенным образом (по принципу контраста) она так же свидетельствовала о качестве произносимой в данный момент проповеди.

Отмеченные нами черты жанра проповеди оказываются характерными для прямого слова повествователя "Воскресения". Наиболее ощутимо влияние проповеди в четырех фрагментах повествования романа – в описании весны (глава I), характеристике богослужения в тюремной церкви (глава XL), рассуждениях о людях "дурной профессии" (глава XLIV) и о сложности человеческой природы (глава LIX). Стиль, тематика и ценностная позиция повествователя в перечисленных фрагментах обнаруживают черты, свойственные проповеди-поучению.

Последний роман Л.Н. Толстого, как известно, начинается описанием весны. По единодушному признанию толстоведов, картина весны необходима повествователю для наглядной демонстрации и пояснения собственной "философско-публицистической" мысли[18]. Но это и означает связь его слова с одним из нехудожественных "убеждающих" жанров. Этим жанром, как мы покажем ниже, является проповедь.

Пространственная точка зрения повествователя в начале романа характеризуется не просто значительной степенью удаленности от изображенного мира, но и особым положением. Перечисление объектов, доступных для наблюдения повествователя (земля, люди, "всякая пробивающаяся травка", каменный уголь, нефть, животные, птицы), говорит о том, что наблюдающий взгляд устремлен вертикально вниз. Только при такой точке зрения на "землю" могут быть видимы не конкретные человек, животное, птица, растение, а "несколько сот тысяч людей", "собравшихся" на "земле", животные, птицы и деревья вообще.

Пространственная точка зрения повествователя не остается неизменной на протяжении всего фрагмента. Во втором предложении, описывающем наступление весны в природе, повествователь использует другую позицию.

---

[14] О функциях жанра примера в западноевропейской средневековой проповеди см.: А.Я. Гуревич. Указ.соч.

[15] "Поучения" или "наказания", "Измарагда" являются морализирующими рассуждениями на какую-то определенную тему, которые иллюстрируются библейскими притчами, рассказами из патериков и Пролога…" (А.Х. Гольдберг. Указ. соч. С. 46).

[16] См. примечание № 13.

[17] А.Я. Гуревич. Указ соч. С. 71-73.

[18] "В своеобразном философско-риторическом вступлении к роману поставлен вопрос об отношении людей к "этой красоте мира божия, данной для блага всех существ" и "располагающей к миру и согласию", т.е. о неосознанном отпадении людей от Бога" (Н.Д. Тамарченко. Л.Н. Толстой (1890-е-1900-е годы). С. 52. В печати).

Начало предложения – “солнце грело” – указывает на то, что свое наблюдение за жизнью природы повествователь осуществляет на “земле”, а потому вместо “деревьев” он видит “березы”, “тополи”, “черемуху”, “липы”; вместо “птиц” - “галок, воробьев и голубей”. Однако, как только повествователь обращается снова к миру людей, пространственная дистанция вновь увеличивается. Называние каждого видимого предмета “по имени” и описание его индивидуальных качеств сменяется рассуждением о “людях” (“существах”) вообще.

Подобно пространственной изменяется и временная позиция повествователя. Наступающая весна в первой и последней частях фрагмента – это не переход от зимы к лету, а время, которое, с одной стороны, включено в вечное круговое движение (“весна была весною”), и которое, с другой, в наибольшей степени обнаруживает вечный диссонанс человека с “Божьим миром”. Совсем другая временная точка зрения организует повествование во втором предложении фрагмента. Здесь повествователь отмечает как раз противоположные вневременным индивидуальные проявления наступающей весны. “Клейкие и пахучие листья” черемухи, “лопающиеся почки” липы, жужжащие “мухи” и т.п. детали составляют картину именно этого времени года (весна) и именно этого отрезка весны (наступающая весна).

Особенности пространственно-временной точки зрения повествователя в начале романа, безусловно, связаны со спецификой его ценностной позиции. Однозначно отрицательное отношение к “людям” обуславливает использование дистанцированной точки зрения: именно такая точка зрения позволяет увидеть истинное (отрицательное) значение действий людей. Истинный же смысл мира природы (“мир Божий”) можно уяснить, напротив, только при близком и внимательном его рассмотрении.

Обе пространственно-временные точки зрения повествователя оказываются недоступными самим “людям”. Точка зрения “людей” не может быть ни строго внешней, ни принципиально внутренней, так как цель их жизни - “власть друг над другом” и над окружающим миром - исключает необходимость понимания (друг друга и окружающего мира) и адекватной оценки. Неспособность “людей” занять верную позицию в окружающем их мире, в конечном счете, и осуждается повествователем. Не знание истины обуславливает отрицательное отношение повествователя к “людям”, которым истинное знание недоступно, а само их положение, исключающее необходимость в этом знании. Позиция повествователя в начале романа, как видим, во многом совпадает с позицией проповедника. На традицию поучающего слова указывает, прежде всего, сам факт обличения человеческих действий, причем не как социально отрицательных (точка зрения публициста), а как противоречащих устройству “мира Божьего”. Важно также и то, что повествователь в начале романа использует свойственную учительной литературе точку зрения вечности. Как и проповедник, повествователь романа обнаруживает “общий, вневременный смысл”[19] происходящего на “земле”. Не конкретный человек со своей судьбой интересует повествователя, а “люди” вообще, не отдельный,

[19] О “настоящем времени богословского обобщения” см.: Д.С, Лихачев. Аспекты “вечности” в проповеднической литературе // Д.С. Лихачев. Историческая поэтика русской литературы. Спб.,1997. С.70-71. В рассматриваемом нами фрагменте “Воскресения” используется грамматическое прошедшее время, однако, художественная функция его совпадает с грамматическим “настоящим богословского обобщения”.

совершенный кем-то, безнравственный поступок, а безнравственное устройство всей жизни “людей”[20].

Во втором фрагменте – характеристике тюремного богослужения – позиция повествователя меняется. Тот мир “людей”, за которым повествователь наблюдал со значительной высоты в начале романа, теперь рассматривается им с противоположной точки зрения – участника самого “земного” события (тюремного богослужения). Использование такой позиции позволяет повествователю увидеть то, что в начале романа было недоступно его взгляду. Теперь он может прокомментировать действие каждого человека в отдельности: не “людей” вообще, а священника, дьячка, начальника тюрьмы, надзирателей и арестантов. Две противоположные пространственно-временные точки зрения на мир “людей” используются повествователем с одной и той же целью: для обличения существующих отношений между людьми. В этом смысле начало романа является своеобразным представлением темы, второй же фрагмент (характеристика тюремного богослужения) развивает, уточняет и доказывает заявленный тезис.

В тематическом отношении анализируемый фрагмент вполне соответствует традиции учительной литературы. Грехи и добродетели человека – общая для всех проповедей тематика. Нетрадиционно само решение этой темы повествователем романа. Как и всякий проповедник, повествователь черпает свое представление о должном и недолжном в Евангелии, однако, его прочтение Святого писания значительно отличается от общепринятой трактовки. Интерпретация евангельских заповедей традиционным проповедником никогда не расходится с принятым церковью ортодоксальным прочтением, повествователь же романа, напротив, намеренно противопоставляет представление об истине самого Христа официально признанному толкованию священных текстов. Это противопоставление позволяет повествователю выявить причину общего греховного устройства мира человека. Стремление людей “властвовать друг над другом”, как оказывается, узаконено самой церковью, то есть тем самым институтом, который призван сохранять и передавать истину, открытую человеку Христом. Противоречие, очевидное для повествователя, не осознается самими участниками тюремного богослужения. Ни арестанты, ни те, кто “властвует” над ними не замечают абсурдности того положения, которое каждый из них занимает.

Позиция повествователя во втором фрагменте, как видим, несколько отличается от позиции обычного проповедника. В противоположность последнему, повествователь романа не обнаруживает в мире настоящих последователей Христа. Поскольку человек руководствуется в своей жизненной практике не самим Словом Христа, а только неадекватной ему интерпретацией церкви, его действия всегда противоречат настоящему смыслу заповедей. В отличие от обычного проповедника, с другой стороны, повествователь не находит и авторитетного толкования Слова. Существующее официальное понимание представляется повествователю не просто неадекватным, а в корне неверным.

Позиция повествователя, полемизирующего с общепризнанной точкой зрения на истину, может быть соотнесена, очевидно, с установкой первых

[20] О специфике предмета проповеди см. также: А. Мень. Ветхозаветные пророки. М., 1991.

проповедников христианства[21]. Подобно первым ученикам Христа, он видит в Слове прямое и непосредственное (но, безусловно, не буквальное) выражение истины. Кроме того, он обличает языческие традиции. "Кощунственным волхвованием" называет он один из основных обрядов христианства – причащение[22].

Два первых фрагмента – начало романа и характеристика тюремного богослужения – объединены не только в тематическом, но и в стилистическом отношении. Обратим внимание на особую торжественную интонацию слова повествователя в этих фрагментах, которая создается повторами ключевой фразы ("Как ни старались люди" и "Никому из присутствующих не приходило в голову…"[23]) и длинными периодами (в главе XL первое предложение составляет целый абзац).

Использование такой интонации в обоих фрагментах связано, прежде всего, со спецификой заявленной темы. "Высокая" тема – устройство "Божьего мира" и заповеди Христа – должна быть подана в соответствующей ей форме. Торжественная интонация, кроме того, обусловлена и целью высказывания повествователя. Повествователю важно привлечь внимание читателя к неочевидной для последнего проблеме – абсурдности действия "людей".

Стиль слова повествователя в двух других фрагментах романа изменяется. Торжественный тон повествования, длинные периоды, повторы фраз, полемически апеллирующих к читателю, – все это не характерно для стиля рассуждений о представителях "дурной профессии" и о сложности человеческой природы. Спокойная интонация почти частной беседы определяет лексические и синтаксические особенности этих двух фрагментов. Вместо "высокой" лексики ("мир Божий", "благо всех существ", "бессмысленное многоглаголание и кощунственное волхвование") здесь используется в основном нейтральная или даже несколько сниженная лексика ("богачи, хвастающие своим богатством"). Вместо длинных сложных предложений – вполне разговорные конструкции. (Так, например, в главе XLIV повествователь задает читателю вопрос, а в главе LIX заканчивает перечисление "свойств" человека типично разговорным "и так далее").

Изменение стиля повествующего слова в начале глав XLIV и LIX, безусловно, указывает на изменение самой позиции повествователя. В противоположность двум первым фрагментам, в этих фрагментах повествователь не только не противопоставляет себя всем остальным "людям", но, наоборот, включает себя в их круг.

Смена пространственно-временной и ценностной точек зрения происходит в главе XLIV. В начале рассуждения о представителях "дурной профессии" ("Всякому человеку…") повествователь занимает объективно-отстраненное положение: он рассуждает о таком свойстве человека, как

---

[21] Мы имеем в виду, в первую очередь, послания апостола Павла. Об апостоле Павле как одном из первых проповедников христианства см.: А.С. Жебелев. Апостол Павел и его послания. Пг., 1922.

[22] Точка зрения повествователя, обличающего языческий культ, во многом сходна с позицией не только первых проповедников христианства, но и ветхозаветных пророков. Подробный анализ ветхозаветной профетической литературы см. в указ. работе А. Меня.

[23] Л.Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90 т. Т. 32. М.,Л., 1933. С. 3, 137-138. Текст романа далее везде цитируется по этому издапнию с указанием страниц в скобках после цитаты.

оправдание избранного им рода деятельности. Однозначно отрицательная оценка, которая сопровождала повествующее слово в двух предыдущих фрагментах, не характерна для начала этого рассуждения. Можно говорить даже о значительной доле сочувствия повествователя к "человеку", который делает все возможное, чтобы его "деятельность" была признана окружающими как "важная и хорошая". Если ответственность за ложные действия участников тюремного богослужения повествователь возлагает на самих героев, то в этом случае он видит и другую причину: в "известное положение" человека приводят не только собственные "грехи-ошибки", но и "судьба".

Сочувствие повествователя к людям "дурной профессии" проявляется также и в том, что он опровергает сложившееся представление о таких людях. Для повествователя в начале рассуждения важно показать, что те, кто принадлежат к этой "профессии", и те, кто к ней не относятся, на самом деле нуждаются в одном и том же, в оправдании собственной деятельности: "Всякому человеку, для того чтобы действовать, необходимо считать свою деятельность важною и хорошею" (С.151) (выделено мной — *Т.В.*).

Объединяя две противоположные группы людей, повествователь, однако, исключает из этого объединения самого себя. Знание того, что один человек похож на другого, недоступное "человеку", возвышает повествователя, делает его точку зрения объемлющей по отношению к двум противоположным точкам зрения на "дурную профессию".

Единство точки зрения повествователя во второй части рассуждения – в характеристике другой группы людей – распадается. Здесь повествователь, с одной стороны, отождествляет себя с теми, кто, не по своему социальному положению, а по существу самой деятельности является "вором", "убийцей", "шпионом" и "проституткой"; именно поэтому он употребляет местоимение "мы". С другой стороны, в этой части рассуждения используется и та точка зрения, с которой осуществлялось повествование в начале рассуждения. Такая принципиально внешняя по отношению к "людям" обеих групп позиция позволяет повествователю верно оценить действия "богачей", "военноначальников" и "властителей" и, кроме того, свои собственные действия. Только внешняя точка зрения дает возможность увидеть в "этом кругу людей" то же "извращение понятия о жизни, о добре и зле, для оправдания своего положения", что и у людей "дурной профессии".

Подобным образом и в главе LIX повествующее слово имеет две тенденции. С одной стороны, повествователь утверждает свою принадлежность людям, среди которых "распространено суеверие" о том, что "каждый человек имеет одни свои определенные свойства". С другой, анализирует это "суеверие" и опровергает его. Отличие организации повествования в этих рассуждениях заключается в распределении двух разных точек зрения. В противоположность рассуждению о представителях "дурной профессии", в рассуждении о "распространенном суеверии" анализирующая и опровергающая точка зрения "обрамляет" высказывание. В первом предложении рассуждения повествователь описывает само "суеверие", а в предпоследнем ("Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем непохож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою") (С.194) – опровергает его. Если в начале и заключении рассуждения о "суеверии" повествователь противопоставляет свое мнение о "каждом человеке" собирательному мнению людей, то в основной части, напротив, включает в эту собирательную точку зрения и свою собственную.

Внутренняя по отношению к заблуждающимся людям точка зрения, однако, сопровождается его внешней анализирующей и опровергающей точкой зрения: в одном и том же предложении и даже в самом местоимении “мы” ощутимо присутствие двух разных тенденций слова повествователя.

Итак, во всех четырех фрагментах романа повествователь использует “далевую” точку зрения, отделяющую его в пространственно-временном и ценностном отношении от людей. Эта точка зрения обуславливает такую особенность повествующего слова, как “абстрагирование”: повествователя интересует не конкретный случай, произошедший с конкретным человеком, а общие законы человеческого существования. Дистанция между повествователем и “людьми”, как мы выяснили, не остается неизменной: в каждом следующем фрагменте она уменьшается, так что в рассуждениях о представителях “дурной профессии” и о “суевериях” становится возможным появление другой точки зрения, объединяющей повествователя со всеми людьми. Использование этой, объединяющей, точки зрения не означает, однако, смещение внимания повествователя с закономерностей устройства жизни человека на конкретный случай. Даже местоимение “мы” употреблено здесь в абстрактно-обобщенном значении.

Отмеченные особенности организации повествующего слова указывают на то, что все четыре фрагмента романа представляют собой своеобразное единство. Каждый из четырех фрагментов выполняет в рамках проповеди повествователя свою функцию. Во-первых, каждый последующий фрагмент разъясняет и уточняет тему, заявленную в начале романа: устройство мира “людей”. В первой главе романа повествователь характеризует этот мир как абсолютную противоположность “Божьему миру” природы. В следующем фрагменте он выясняет причину несовершенства человеческого мира (“люди” не только не выполняют заповеди Христа, но и сознательно нарушают их). В рассуждениях же о представителях “дурной профессии” и о “суевериях” рассматривается само устройство жизни “людей”. Стремление “властвовать” оборачивается для человека невозможностью адекватно понять не только другого, такого же, как и он сам, человека, но и самого себя.

Каждый из четырех фрагментов, во-вторых, по-своему участвует в и организации диалога повествователя с читателем. В первых двух повествователь открыто осуждает действия “людей”, полемически апеллируя тем самым к читателю. В третьем фрагменте использование “внутренней” точки зрения дает повествователю возможность включить в “круг людей” не только самого себя, но и читателя, а значит, позволяет перевести размышление о далекой, неактуальной для читателя проблеме на вполне понятный ему язык. Наконец, если в рассуждении о представителях “дурной профессии” повествователь стремился продемонстрировать читателю его (читателя) собственные заблуждения, то в рассуждении о “суеверии” он тем же способом (внутренне близкий читателю язык) пытается показать сложность человеческой природы – сосуществование в человеке доброго и злого начал. Очень важно, что свою “речь” повествователь заканчивает именно утверждением сложности человека, а не обличением его “грехов-ошибок”. Светлое начало, которое обнаруживает повествователь в “людях”, а, следовательно, и в самом читателе, является залогом будущего воскресения человека.

Проповедь повествователя, которую составляют, таким образом, рассмотренные четыре фрагмента романа, безусловно, нельзя назвать вполне традиционной. Здесь, например, не соблюдаются требования к композиции

проповеди-поучения: отсутствуют традиционные начало и концовка, где проповедник обращается к пастве с прямыми указаниями[24]. В отличие от традиционной проповеди, здесь также не содержатся необходимые для этого жанра примеры (причем, не только "из жизни", но и из Евангелия) и цитаты из авторитетных текстов, в том числе евангельские.

Функцию примера выполняет в романе, прежде всего, сама основная история главных героев. За каждым фрагментом проповеди следует эпизод из истории Нехлюдова и Катюши Масловой, поясняющий мысль повествователя. Причем во всех четырех случаях переход от общего суждения к примеру обозначен одним и тем же способом – разными вариантами слова "так" (С.3, 139, 152, 194). Аналогичную функцию имеют и многочисленные истории второстепенных персонажей, включенные в роман. Наконец, использует повествователь и такой вид примера, как другая проповедь. Подобно традиционному проповеднику, он соотносит свое поучающее слово с другим – Кизеветера, путешествующего англичанина, священника острожной церкви, старика на пароме и Нехлюдова. Во всех пяти случаях слово повествователя противопоставлено другому поучающему слову, однако, каждый раз по-разному.

Первые три проповедника повествователем разоблачаются. Особенно очевидно это в отношении Кизеветера, проповедь которого представляет собой хорошо отрепетированный спектакль. Поучающее слово повествователя и Кизеветера противопоставлены, прежде всего, в стилистическом плане. Проповедь последнего перегружена разного рода риторическими конструкциями (восклицаниями, риторическими вопросами, усиливающими эмоциональное напряжение повторами и т.д.), которые в смысловом отношении не выглядят необходимыми. Поучающему слову повествователя, напротив, не свойственно преобладание орнаментальных элементов над элементами собственно смысловыми. Использование риторических конструкций (повторы) в начале романа и в сцене тюремного богослужения обусловлено общей задачей проповеди: необходимо привлечь внимание читателя к неактуальной для последнего проблеме. В двух других фрагментах повествователь, как мы помним, вообще отказывается от подобного приема.

Две указанные проповеди противопоставлены, кроме того, и в тематическом отношении. Тема одной из них – человеческие грехи и их искупление – вполне традиционна для этого жанра; нетрадиционна ее трактовка английским проповедником. В отличие от канонического проповедника, он никак не поясняет, о каком конкретно грехе идет речь в его проповеди и что необходимо делать человеку для его искупления. Поучающее слово повествователя романа в большей мере соответствует традиции. Если Кизеветер рассматривает саму ситуацию грех-искупление, то повествователь – конкретное проявление этой ситуации. В стремлении людей "властвовать друг над другом" он видит нарушение основной заповеди Христа – о необходимости любви.

Стиль и трактовка темы в проповеди Кизеветера указывают на то, что ему важно установить эмоциональный контакт, довести своего слушателя до состояния экстатического возбуждения. Пребывание человека в таком состоянии, по всей видимости, и понимается проповедником как очищение от грехов. Повествователь же апеллирует не к эмоциям читателя, а к его разуму. Вот почему он, во-первых, отказывается от риторических украшений, а во-

[24] О композиции древнерусских поучений и слов см. И.П. Еремин.Указ. соч. С. 67, 75.

вторых, стремится разъяснить читателю свою основную мысль – о власти людей друг над другом – тщательно и подробно.

По-разному используются проповедниками и типичные для жанра проповеди приемы. Так, местоимение “мы” и сравнение выполняют у Кизеветера и повествователя романа совершенно разные функции.

Оба проповедника вводят в свою речь сравнение: первый сравнивает духовное состояние грешника с положением человека, находящегося в горящем доме, второй – “людей” с “реками”. Очевидно, что первое сравнение выполняет в проповеди функцию украшения, поэтому его можно удалить из речи, нисколько не изменив ее значения. В слове же повествователя сравнение “людей” с “реками” важно, наоборот, именно в смысловом отношении: оно устанавливает равновесие между началом и концом проповеди. Повествователь сначала обнаруживает разъединение “людей” и “мира Божьего” природы (первый фрагмент), а затем устанавливает их единство (последний фрагмент): “люди как реки”. “Каноничность” сравнения в речи Кизеветера очевидна: при описании положения грешника средневековый проповедник очень часто использовал мотивы огня[25] и замкнутого пространства[26]. Знакомое сравнение, в отличие от нового, вызывает у слушателя ряд устойчивых ассоциаций и направляет его мысль в необходимое строго определенное русло. Повествователю же пассивный читатель, роль которого ограничена непосредственной реакцией на знакомые сигналы, не интересен.

В проповеди Кизеветера формально по своему значению и местоимение “мы”. Объединяя себя и слушателей в одно целое, он в то же время внутренне ощущает свою отдельность от своей аудитории. “Я” “оратора” и “актера” в сознании Кизеветера не совпадает с “мы” грешников. Это несовпадение особенно отчетливо проявляется в реакции английского проповедника на то место проповеди, где речь идет о предстоящих человеку (а значит и ему самому) “вечных мучениях”. Вместо ужаса перед ожидающими всякого грешника страданиями проповедник испытывает чувство “умиления” собственным ораторским мастерством. Совсем иначе использует местоимение “мы” повествователь. Оно появляется, как мы помним, только в двух последних фрагментах и означает не равенство проповедника и воспринимающего его читателя, а равенство одного человека другому. В противоположность Кизеветеру, повествователь романа ощущает себя не только проповедником, но и простым человеком, который, как и любой другой, “носит в себе зачатки всех свойств людских”.

Итак, проповедь Кизеветера выполняет в романе функцию ложного поучающего слова. Основным средством убеждения здесь является слово, “разыгранное” проповедником. Об этом, между прочим, говорит и тот факт, что свою речь он произносит на языке, не доступном аудитории. Рыдания и т.п. сильные эмоции, которые во время проповеди испытывают слушатели, безусловно, не могут быть вызваны переводом “молодой худой девушки”. Синхронный перевод, доводящий до сознания слушателя смысл речи английского проповедника, всего лишь дополняет основное впечатление от устроенного им спектакля.

---

[25] Об этом см., например, А.Я. Гуревич. Указ. соч. С.95.

[26] См. анализ “анекдота о грешнике, который, находясь на корабле, понял, что разразившаяся на море буря вызвана грузом его грехов” (А.Я. Гуревич. Указ. соч. С.169).

Эта проповедь, как видим, во многом похожа на исполнение шаманского обряда или “волхвование”[27]. Подобно языческому “проповеднику” Кезеветер воздействует на слушателя не значащим, а звучащим словом[28]: сам звук, интонация и жест приобретают в его речи значение. Это “волхвование” и осуждает повествователь. С его точки зрения, Слово Христа о спасении каждого человека может быть передано только словом же, которое, в отличие от “волхвования”, апеллирует к сознанию. Другим примером ложной проповеди является учительное слово путешествующего по Сибири англичанина. Оно существенно отличается от речи Кизеветера. Прежде всего, отметим стилистическую простоту, которая обусловлена спецификой аудитории этого проповедника – русские заключенные. Кроме того, обратим внимание и на тематику проповеди. Английский путешественник рассуждает о конкретной ситуации (тюремное заключение) и о конкретном, только что произошедшем случае (драка арестантов). И, наконец, укажем на то, что основным способом убеждения слушателей в данном случае является само слово: проповедник разъясняет арестантам смысл сказанного Христом.

Несмотря на все перечисленные отличия, и эта проповедь показана повествователем как ложная. Развенчанию здесь подвергается, однако, не способ убеждения, а само понимание Слова Христа. Благая весть о возможности спасения человека, о необходимости прощения ближнего и любви к нему понимается английским путешественником односторонне. “Закон Христа” он применяет только к самим заключенным, а не ко всем без исключения людям, в том числе и к тем, кто судит и наказывает. В этом смысле весьма показательно отсутствие в речи этого проповедника местоимения “мы”. Английский путешественник не допускает даже формального, как у Кизеветера, объединения себя со своими слушателями: люди, осужденные обществом, не могут претендовать на равенство самому проповеднику.

Еще один пример ложного поучающего слова — проповедь священника острожной церкви. Она отчетливо выделяется на фоне двух уже рассмотренных. Во-первых, только здесь проповедник отказывается от собственного слова и поучает слушателей посредством другой проповеди: священник читает то место из Евангелия Марка, в котором “сказано было, как Христос, воскресши,…явился сначала Марии Магдалине …, и потом одиннадцати ученикам, и как велел им проповедовать Евангелие всей твари” (С.135). Во-вторых, только здесь цитируется, а не интерпретируется Евангелие. В-третьих, в отличие от речей Кизеветера и английского путешественника, перед нами единственная полностью пересказанная повествователем проповедь.

Она представляет собой ряд последовательных включений “чужого” поучающего слова в “свое собственное”. Отправной точкой этого ряда являются последние слова Христа одиннадцати ученикам. Следующее звено цепи – Евангелие от Марка: евангелист, передавая Слово Христа, поучает своих читателей. В свою очередь священник демонстрирует арестантам возможности “поверившего” человека при помощи Евангелия от Марка. Наконец, переска-

---

[27] О способах воздействия шаманов и волхвов на свою аудиторию см.: А. Мень. Доисторические мистики // А. Мень. История религии. Т.2. М.,1991. С.36-51; С.А. Токарев. Шаманизм // С..А. Токарев. Ранние формы религии. М., 1990. С.255-266.

[28] Так, А. Мень отмечает, что “в пении сибирских шаманов порой звучат слова не известного никому языка, который непонятен и самому шаману” (А. Мень. Указ. соч. С.46).

зывая от своего лица прочитанный священником фрагмент Евангелия, повествователь выступает в роли учителя, который должен сформировать у читателя романа представление об истинной и ложной проповедях, а следовательно, научить его адекватному пониманию Слова. У каждого из четырех субъектов речи свой взгляд на нее. Для Христа слово – это сама истина, а значит и основное средство убеждения слушателя в необходимости веры. Другое средство – чудо – понимается Христом как атрибут и следствие веры, а не аргумент и причина ее. Оно используется только в тех случаях, когда слово оказывается бессильным. Так, воскресши, Христос не сразу обращается к своим ученикам. Он делает это только после того, как все возможности "чужого" свидетельствующего о воскресении слова (Марии Магдалины и двух учеников) оказываются исчерпанными. На приоритет слова над чудом в ценностной системе Христа указывает, между прочим, и тот факт, что своих учеников он призывает к "проповеди Евангелие всей твари", а не к творению чудес. Чудо, говорит своим ученикам Христос, будет сопровождать действия "поверившего" человека, однако, ему всегда будет предшествовать вера.

Точка зрения евангелиста Марка отделена от точки зрения Христа незначительной пространственно-временной дистанцией. Для евангелиста проповедь Христа – совсем недавнее прошлое, непосредственно связанное с его настоящей "обычной" жизнью. В отличие от пространственно-временной, ценностная позиция евангелиста в большей степени расходится с точкой зрения Христа. Если Христос доказывает, убеждает и проповедует, то евангелист, наоборот, является тем, к кому непосредственно обращено Слово. То, что сам Христос знает из своего внутреннего опыта, знакомо евангелисту Марку из опыта внешнего – как одному из первых очевидцев воскресения. Разница точек зрения Христа и Марка, таким образом, это разница "звучащего" слова и слова, которое воспринимается и затем записывается. Функция записывания, как известно, всегда связана не только с сохранением, но и с искажением того, что "слышит" воспринимающий.

В противоположность евангелисту, священник острожной церкви находится на значительной пространственно-временной дистанции от проповеди Христа. И само Слово, и проблемы, о которых рассуждает Христос, знакомы священнику не из личного жизненного опыта, как это было в случае с евангелистом, а из книги, а потому там, где евангелист видит непосредственную связь жизни и Слова, священник обнаруживает только связь метафорическую. На метафорическое восприятие Слова священником указывает, в частности, выбор самого фрагмента из Евангелия Марка. Священник, безусловно, ощущает несоответствие ситуаций двух проповедей (своей собственной и проповеди Христа). Он понимает, что обещание Христа, о котором идет речь, не представляет для арестантов никакой ценности: способность изгонять бесов и понимать "новые языки" нисколько не облегчит настоящего положения заключенных. Выбор священника, очевидно, можно объяснить только тем, что обещанные Христом чудесные возможности "поверившего" человека он рассматривает не как реальные, а как метафорические. Точно так же хлеб и вино представляются священнику не самим "Богом", а только его символом.

Точка зрения повествователя отличается от двух других точек зрения. В противоположность священнику и евангелисту Марку, повествователь романа рассматривает Слово Христа в "исторической" перспективе.

Как мы уже отмечали, позиция евангелиста в отношении учительного слова Христа характеризуется незначительной пространственно-временной

дистанцией. Такая дистанция и определяет во многом специфику восприятия Слова евангелистом. В отличие от священника и повествователя романа, евангелист имеет возможность “видеть” деяния Христа, а значит, имеет и доказательства истинности Благой вести. Отношение священника острожной церкви к Слову формируется на иной основе. Так же, как и евангелист, священник не обладает опытом внутренней веры. Не обладает он, одновременно с этим, и доказательствами истинности Слова, которые известны евангелисту - очевидцу воскресения. Слово Христа авторитетно для священника не потому, что его правота очевидна и не потому, что опыт духовной жизни свидетельствует об этом, а потому, что другое отношение к Слову оказывается в данном случае абсолютно невозможным. То социальное положение, в котором находится герой, обязывает его к строго определенному, раз и навсегда установленному, пониманию Слова.

Внешне убедительное для евангелиста и авторитарное для священника Слово Христа в кругозоре повествователя становится “внутренне убедительным”. И дело здесь вовсе не в абсолютном совпадении сказанного и воспринятого. Как раз такого, абсолютного, совпадения точек зрения – Христа и повествователя романа – не происходит. Наоборот, повествователь настоятельно подчеркивает (в основном интонационными средствами) неуместность обещаний Христа в современных условиях: так, чудесные способности “поверившего” человека оцениваются им как возможности сказочного героя, которым можно удивляться, но которыми нельзя воспользоваться. Чужое слово Христа становится “внутренне убедительным” для повествователя Словом только тогда, когда оно рассматривается им в “исторической” перспективе. “Историческая” точка зрения позволяет обнаружить в Слове как в высказывании неизбежное и даже необходимое противоречие: непреходящий, понятный каждому из собственного опыта духовной жизни, смысл и обусловленное совершенно конкретными историческими условиями, содержание. Соглашаясь с вечным смыслом Слова, повествователь полемизирует не с конкретно-историческим его содержанием, а с той точкой зрения, которая не учитывает условного характера проповеди Христа. Такая точка зрения абсолютизирует все высказывание в целом, лишая его тем самым возможности нормального функционирования. Слово Христа в этом случае превращается в мертвый текст, понимание которого не может быть событийным, так как не требует обнаружения вечного смысла в ходе все время обновляющейся жизни.

Поучительное слово священника острожной церкви, таким образом, занимает особое положение среди ложных проповедей романа, и не только среди них. Тематически оно выделено повествователем в общей системе образцов этого жанра, в которую входит и поучающее слово самого повествователя): как и весь роман в целом, эта речь посвящена проблеме воскресения. Полемизируя с точкой зрения священника по отношению к Слову Христа, повествователь противопоставляет общепринятое представление о физическом воскресении Христа своему собственному пониманию Благой вести. Для того, чтобы подтвердить правоту своего нетрадиционного понимания, повествователь и использует другую группу примеров – истинные проповеди.

Речь старика на пароме – первый пример истинного поучающего слова – во всем противоположна ложным проповедям романа. Прежде всего, отметим, что она произносится на родном и понятном для окружающих языке, а потому вызывает ответную *словесную* реакцию слушателей. Кроме того, она спонтанна: звучит в ответ на вопросы окружающих старика людей (мужиков

и Нехлюдова). И, наконец, отличается эта проповедь и самим подходом к Христу и его Слову. Для всех ложных проповедей романа характерна, как мы помним, внешняя точка зрения по отношению к Слову. И "волхвование" Кизеветера, и отделение себя-проповедника от слушателей-арестантов английским путешественником, и отказ священника острожной церкви от собственного прочтения Евангелия повествователь связывает с этой важнейшей особенностью ложного поучающего слова. Внешняя точка зрения в этом случае так же, как и в случае с оценкой людей "дурной профессии" людьми "другого круга", не может быть адекватной.

Позиция старика на пароме в отношении Христа абсолютно противоположна. В этом смысле особенно показателен рассказ героя о том, как его "гонят". Отвечая на вопрос Нехлюдова, старик сравнивает свою жизнь за последние двадцать три года с судьбой Христа. Такое сравнение звучало бы весьма двусмысленно, если бы не прямые свидетельства того, что судьба Христа действительно повторяется в судьбе старика. Два момента подтверждают верность самооценки героя. Во-первых, сцена допроса старика "книжниками и фарисеями", о которой рассказывает герой. Совершенно очевидно, что эта сцена полностью дублирует допрос Христа "книжниками и фарисеями" и Понтием Пилатом. В отличие от старика, допрашивающие не могут сознательно исполнять роль евангельских персонажей. Они невольно становятся участниками когда-то произошедшей и повторяющейся вновь драмы. Об адекватной самооценке старика на пароме говорит, во-вторых, и сам смысл его проповеди. Этот герой, подобно Христу, проповедует единство и равенство всех людей перед Богом, которое предполагает соблюдение заповедей всеми без исключения людьми. Уравнивая в разговоре с путешественником осужденных и осуждающих перед заповедями Христа, старик поступает так же, как и сам Христос, который указал "книжникам и фарисеям" на то, что они первыми нарушили закон Моисея, а потому не имеют право на осуждение женщины, совершившей прелюбодеяние (Ин.8, ст.7).

Как видим, позиция старика на пароме в отношении к событию воскресения качественно отличается от точки зрения священника острожной церкви. Священник понимает воскресение как возможность преодоления физической смерти. Возрождение Христа для этого героя является гарантом предстоящего каждому обычному человеку воскресения. В противоположность священнику, старик на пароме не связывает событие воскресения с событием физической смерти. Для него воскресение – сугубо духовный и, притом, трехсторонний акт. Воскресение человека – это возрождение в нем Бога и Слова Бога (и о Боге) – Христа и наоборот. Именно с такой точки зрения рассматривает старик на пароме центральное событие своей собственной судьбы. Он не отделяет собственное возрождение к новой жизни (или – выражаясь словами самого старика – осознание присутствия в себе самом "духа едина") и обретение личного слова от воскресения в своей душе самого Бога и его Слова. Вот почему жизненный путь Христа видится герою не как "далекий", а как осуществляемый им самим здесь и теперь.

Проповедь Нехлюдова – второй пример истинного поучающего слова – занимает особое место в романе. В качестве финальной она оказывается противопоставленной всем остальным, предшествующим ей, проповедям-примерам и сопоставленной с поучающим словом самого повествователя.

Прежде всего, отметим, что в сцене тюремного богослужения, как и в финале произведения, повествователь изображает читающих героев, причем,

читающих именно Евангелие. Вместе с тем, принципиально важно то, что Нехлюдов и священник острожной церкви обращаются к разным Евангелиям – от Марка и от Матфея. В обоих случаях повествователь оставляет за собой право на комментарий евангельского текста. Но тот факт, что один текст все же "звучит" в романе, а другой, напротив, только пересказывается и комментируется, недвусмысленно указывает на разницу позиции повествователя в двух эпизодах.

Поучающее слово главного героя, в отличие от проповедей Кизеветера, английского путешественника и старика на пароме, предстает не как уже сформированное, а как становящееся на глазах читателя. В этом процессе особое значение имеет, по всей видимости, возможность слышать и оценивать чужое поучающее слово. Нехлюдов, действительно, оказывается слушателем всех "звучащих" в произведении проповедей. В этом смысле можно говорить о неравнозначном влиянии трех встреч главного героя с другими проповедниками. Если первые две встречи (с Кизеветером и стариком на пароме) не оказывают *прямого* воздействия на Нехлюдова, то последняя, напротив, становится для героя решающей. И дело здесь вовсе не в свойствах самой проповеди английского проповедника, а в том, что она "звучит" на фоне другой проповеди – старика на пароме. Необходимость выбора между двумя абсолютно противоположными точками зрения на истину, в конечном счете, и подталкивает Нехлюдова к чтению Евангелия, первоисточника этих точек зрения.

Проповедь главного героя романа противопоставлена трем "звучащим" проповедям и в другом отношении. В отличие от поучающего слова Кизеветера, английского путешественника и старика на пароме, слово Нехлюдова обращено не к слушателю, а к самому себе. Нарушая один из основных принципов жанра, высказывание Нехлюдова, вместе с тем, по самому способу организации дискурса вполне соответствует "канону" истинного поучающего слова. Как мы помним, для ложного слова характерен сугубо формальный диалог проповедника и слушателя: Кизеветер, английский путешественник и священник острожной церкви разыгрывают перед своей аудиторией заранее подготовленный спектакль. В сравнении с ложной, истинная проповедь представляет собой своеобразную импровизацию, звучащую в ответ на вопрос окружающих проповедника людей. И старик на пароме, и сам Христос в Евангелии от Матфея проповедуют не с кафедры; они окружены слушателями, которые задают проповеднику вопросы, непосредственно связанные с их (слушателей) будничной жизнью.

Подобно Слову Христа и поучению старика на пароме, слово Нехлюдова построено как диалог двух людей: обладающего истинным знанием проповедника и вопрошающего слушателя. В этом смысле проповедь главного героя романа нисколько не нарушает "канона" истинной проповеди. Не соответствует "канону" здесь не сам способ организации дискурса, а распределение функций проповедника и слушателя. Если в проповеди старика на пароме и Христа эти функции были разделены, то в проповеди Нехлюдова, напротив, сам герой одновременно предстает и как человек, ищущий ответа, и как тот, кто знает верный ответ. Во время чтения Евангелия два голоса постоянно звучат в душе Нехлюдова: "Да неужели только это? – вдруг вскрикнул Нехлюдов, прочтя эти слова. И внутренний голос всего существа его говорил: "Да, только это" (С.441).

Рождение собственного учительного слова Нехлюдова связано с событием неожиданного обретения героем смысла Слова Христа. Наугад открыв

Евангелие, Нехлюдов сначала читает тот фрагмент, в котором Христос говорит о необходимости "умаления". Язык этого фрагмента и следующих за ним 7-го, 8-го, 9-го и 10-го стихов оказывается для героя абсолютно непонятным. Читая "стихи о соблазнах, о том, что они должны прийти в мир, о наказании посредством геенны огненной, в которую ввергнуты будут люди, и о каких-то ангелах детей, которые видят лицо отца небесного" (С.440), Нехлюдов попадает в положении арестантов, слушающих чтение Евангелия от Марка. Реалии евангельского мира оказываются в той же мере не понятными ему, образованному князю, в какой непонятны они для "людей из народа".

Точка зрения Нехлюдова изменяется при чтении фрагмента, наиболее связанного с его собственной судьбой. Герой ищет в Евангелии разрешения того же самого вопроса о необходимости прощения, который задает Христу Петр. Читая ответ Христа, Нехлюдов уже не замечает "отталкивающих" "нескладностей" Евангелия. Чужой, непонятный язык отходит на второй план по сравнению с самим смыслом Слова, а потому становится понятным.

Понимание смысла Слова влечет за собой возможность перевода чужого Нехлюдову языка на язык свой собственный. Первый прочитанный героем фрагмент принципиально не мог быть пересказан своими словами; он требовал от Нехлюдова точного воспроизведения чужих, непонятных слов. Второй фрагмент, напротив, легко трансформируется в свое собственное высказывание о преступниках.

Однажды обретенное понимание смысла Слова Христа уже не может быть утрачено Нехлюдовым. Вот почему повторное прочтение героем Евангелия и, в частности, Нагорной проповеди Христа, дает результаты, совершенно другие в сравнении с чтением первого фрагмента и с более ранними по времени прочтениями. Повествователь отмечает, что теперь всегда казавшиеся "отвлеченными" "прекрасные мысли" Нагорной проповеди воспринимаются Нехлюдовым как "простые, ясные и практически исполнимые заповеди".

Как видим, знание, открывшееся Нехлюдову во время чтения Евангелия, несколько отличается от того, которым обладает старик на пароме. Последнему доступно понимание не только своей собственной судьбы (проповедника Слова), но и судьбы Слова, воскресающего в каждом истинном проповеднике. В отличие от старика, Нехлюдов во время чтения Евангелия постигает только одну сторону истины, а именно смысл Слова. Другая сторона – знание о судьбе Слова – остается за границами кругозора героя.

Поучающее слово Нехлюдова, противопоставленное повест-вователем романа всем остальным проповедям-примерам, введенным в его высказывание, вместе с тем, обнаруживает тенденции, свойственные учительному слову самого повествователя. Об этом говорит более всего та позиция, которую занимает герой в своем поучении по отношению к "людям".

Позиция Нехлюдова в рассуждении о преступниках во многом сходна с позицией повествователя. Как и первым двум фрагментам проповеди последнего, этому рассуждению свойственна значительная ценностная и пространственно-временная дистанция, отделяющая Нехлюдова от тех, кого он обличает. Знание, которым теперь обладает герой, позволяет ему оценивать действия людей не с точки зрения современности, как это было до момента чтения Евангелия, а с позиции вечности. Вот почему в рассуждении о преступниках речь идет о самом устройстве общества и о "нескольких столетиях" непрерывного преступления. В комментариях к притче о виноградарях позиция Нехлюдова меняется. Подобно повествователю двух последних фрагментов,

Нехлюдов здесь не противопоставляет себя другим (“вы”), а наоборот, объединяет себя со всеми остальными людьми (“мы”). Размышляя о виноградарях, нарушивших наставления своего хозяина, герой обнаруживает сходство их действий с действиями людей, в число которых он включает и себя самого. Несмотря на это, точка зрения Нехлюдова все-таки существенно отличается от “коллективной” точки зрения. В противоположность всем остальным людям, Нехлюдов обладает истинным знанием, а значит, обладает и возможностью адекватной оценки своих поступков. О людях и о себе самом он, подобно повествователю романа, и во втором рассуждении судит не с позиции современности, а с позиции вечности.

Проведенный нами анализ позволяет сделать ряд важных выводов. Во-первых, совершенно очевидно, что примеры, которые использует повествователь в своей проповеди, организованы им в целую систему. В этой системе, во-вторых, существуют две группы примеров – истинные и ложные поучения. Истинное и ложное поучающее слово, в-третьих, вступают в проповеди повествователя в своеобразный спор. Для противопоставления двух типов поучающего слова принципиально важной оказывается последовательность введения или порядок расположения примеров в проповеди. За исключением первого (“проповедь” священника острожной церкви) и последнего (поучение Нехлюдова) примеров, ряд проповедей героев выстроен повествователем таким образом, чтобы каждое ложное поучение опровергалось следующим за ним поучением истинным. Абсолютная симметрия достигается в этом случае благодаря тому, что слово старика на пароме вводится в проповедь повествователя дважды. Сначала слово этого героя косвенно опровергает проповедь Кизеветера (в отличие от него, старик на пароме видит равенство людей не в том, что все греховны, а, напротив, в том, что каждый человек заключает в себе “дух един”), затем старик на пароме вступает в открытый спор с английским путешественником. Третья пара примеров – поучения священника острожной церкви и Нехлюдова – нарушает отмеченную закономерность расположения примеров в проповеди повествователя. Помещая учительное слово Нехлюдова в конце ряда примеров, а не непосредственно за проповедью священника, повествователь следует, однако, вовсе не хронологии. Расположение третьей пары примеров свидетельствует о том, что дискредитация слова священника острожной церкви не может быть осуществлена тем же, что и в других случаях, способом. Не только слово Нехлюдова, но и вся система примеров (то есть все составляющие ряд примеров звенья) необходима для опровержения этой ложной проповеди. Расположение третьей пары примеров, с другой стороны, указывает на то, что и поучение Нехлюдова не может состояться вне зависимости от остальных проповедей. И само становление поучающего слова главного героя, и понимание его читателем романа возможны только в условиях функционирования всей системы примеров в целом. Наконец, в-четвертых, отметим, что, создавая абсолютно симметричную систему примеров, повествователь в то же время намеренно выделяет в ней слово главного героя романа. Для того, чтобы выяснить, какая именно роль предназначена в “Воскресении” поучению Нехлюдова, необходимо обратиться к другой характерной особенности учительного слова повествователя.

При его анализе мы уже обращали внимание на то, что проповедь повествователя не содержит традиционных цитат из Евангелия. Это утверждение теперь требует уточнения. Евангельское Слово, действительно, не используется повествователем непосредственно в проповеди, но оно предваряет

весь роман в целом и, в частности, саму проповедь повествователя[29]. Вводится евангельский текст в проповедь повествователя и другим способом - в составе примера истинного поучающего слова Нехлюдова.

Слово Христа необходимо повествователю романа, прежде всего, в качестве своеобразного эталона для всех других слов, претендующих на истинность. Характерной особенностью Слова является совмещение двух функций: самого называния истины и проповеди ее. Ни одна из функций не может быть осуществлена Словом в отдельности от другой – свое знание Христос передает только в форме проповеди, и, наоборот, его проповедь всегда оказывается сообщением человеку истинного знания.

Подобное совмещение двух функций присуще и всякому другому истинному слову романа. В финале понимание вечной истины героем и обретение им собственного индивидуального слова оказываются связанными с ситуацией проповеди. Сначала Нехлюдов становится участником проповеди Христа: он внутренне отождествляет себя со слушателями Христа и, прежде всего, с вопрошающим Петром. Открывшееся знание герой затем переводит на свой собственный индивидуальный язык, который оказывается ничем иным, как новой проповедью, обращенной уже к другому непосвященному слушателю[30].

Отмеченной ролью – эталона истинного слова – использование евангельского текста в романе не ограничивается. В противном случае никакой необходимости в дублировании одной и той же цитаты не было бы. Дело в том, что Слово показано в романе с двух разных точек зрения. В эпиграфе оно представлено как безусловно авторитетное: именно в этом качестве, в качестве истины, оно и необходимо повествователю. Совсем с другой стороны воспринимается евангельский текст в финале романа. Здесь истинное Слово оказывается значимым не как таковое – само по себе – а как воспринимаемое Нехлюдовым, во-первых, и как “звучащее” в контексте совершенно определенных обстоятельств жизни героя, во-вторых. В противоположность ценностно дистанцированному эпиграфу, Слово Христа, которое читает Нехлюдов, является “близким”: и для самого героя, и для читателя романа. Это уже не авторитарный текст, который истинен, а потому всегда равно далек от каждого человека. Это “внутренне-убедительное” именно для Нехлюдова Слово, ставшее таковым благодаря личному прочтению, то есть благодаря тому, что герой оказался способным соотнести вечный смысл с конкретно-историческим моментом своей собственной жизни[31].

Две точки зрения на Слово, как видим, указывают в романе на два модуса его существования: не зависимое от воли человека и, в частности воли Нехлюдова, вечное существование и конечная жизнь в самом возрожденном герое. Если в эпиграфе Слово предстоит всему человеческому миру и развер-

---

[29] В этом смысле повествователь нисколько не нарушает учительной традиции, так как и традиционная средневековая проповедь, как мы уже отмечали, нередко начиналась цитатой из священных текстов.

[30] Неважно в данном случае, что этим слушателем является сам Нехлюдов. Анализируя особенности слова Нехлюдова, мы отмечали, что оно построено как диалог двух людей.

[31] Ср.: «“Авторитарный текст” не выпадает из контекста соответствующего эпизода “Воскресения” именно потому, что этот эпизод представляет собою, как свидетельствует специальный анализ отношения в нем героя к чужому слову <…>, превращение “чисто авторитарного слова” во “внутренне убедительное” (Н.Д. Тамарченко. “Монологический” роман Л.Н. Толстого. С.46).

тыванию этого мира в сюжете романа, то в финале произведения оно рождается, становится в мире людей.

Осуществляемое на глазах читателя в конце романа событие возрождения Слова повествователь противопоставляет событию воскресения Христа, о котором читает священник. Этот проповедник рассматривает центральное евангельское событие, во-первых, как событие мистическое, недоступное рациональному толкованию, а во-вторых, как событие, давно произошедшее, которое в настоящий для героя момент времени является принадлежностью текста Священного писания, а не окружающей жизни. Понимая таким образом воскресение Христа, священник лишает возможности возрождения не только себя, но и само Слово. Точно так же, как обычные вино и хлеб не могут превратиться в кровь и тело Бога, не может событие, о котором читает священник, стать событием его собственной судьбы.

В финале романа отношения между читающим героем и евангельским миром построены на принципиально иной основе. Граница, отделяющая реальную жизнь Нехлюдова от изображенной, сначала возникает и здесь: как мы помним, реалии Евангелия и его язык сначала кажутся Нехлюдову непонятными. В отличие от священника и его слушателей, однако, герой преодолевает границу условности, что для него самого оборачивается обретением смысла проповеди Христа, а для Слова – новым рождением или воскресением.

Мистическому воскресению Христа, описанному в Евангелии от Марка, повествователь, таким образом, противопоставляет духовное возрождение Слова в Нехлюдове. Полемизируя с традиционным представлением о событии воскресения, повествователь, очевидно, претендует на роль нового евангелиста. Именно этим стремлением повествователя стать новым свидетелем, а значит и проповедником, Благой вести и можно, по всей видимости, объяснить отсутствие цитат из Евангелия Марка в романе. Только само истинное и вечное Слово Христа обладает здесь правом “звучания”. Комментирующее же слово евангелиста расценивается повествователем как преходящее, равное по степени близости к истине его собственному слову, а потому не цитируется, а пересказывается в произведении.